

Недавнее

Снег был удивительно красив в тот поздний зимний вечер. Он падал нечастыми крупными хлопьями, щекотал нос и щеки, искрился, залетая под фонарь над ближайшим подъездом дома. А в глубине двора, смешиваясь с ночным воздухом, источал голубоватое сияние.

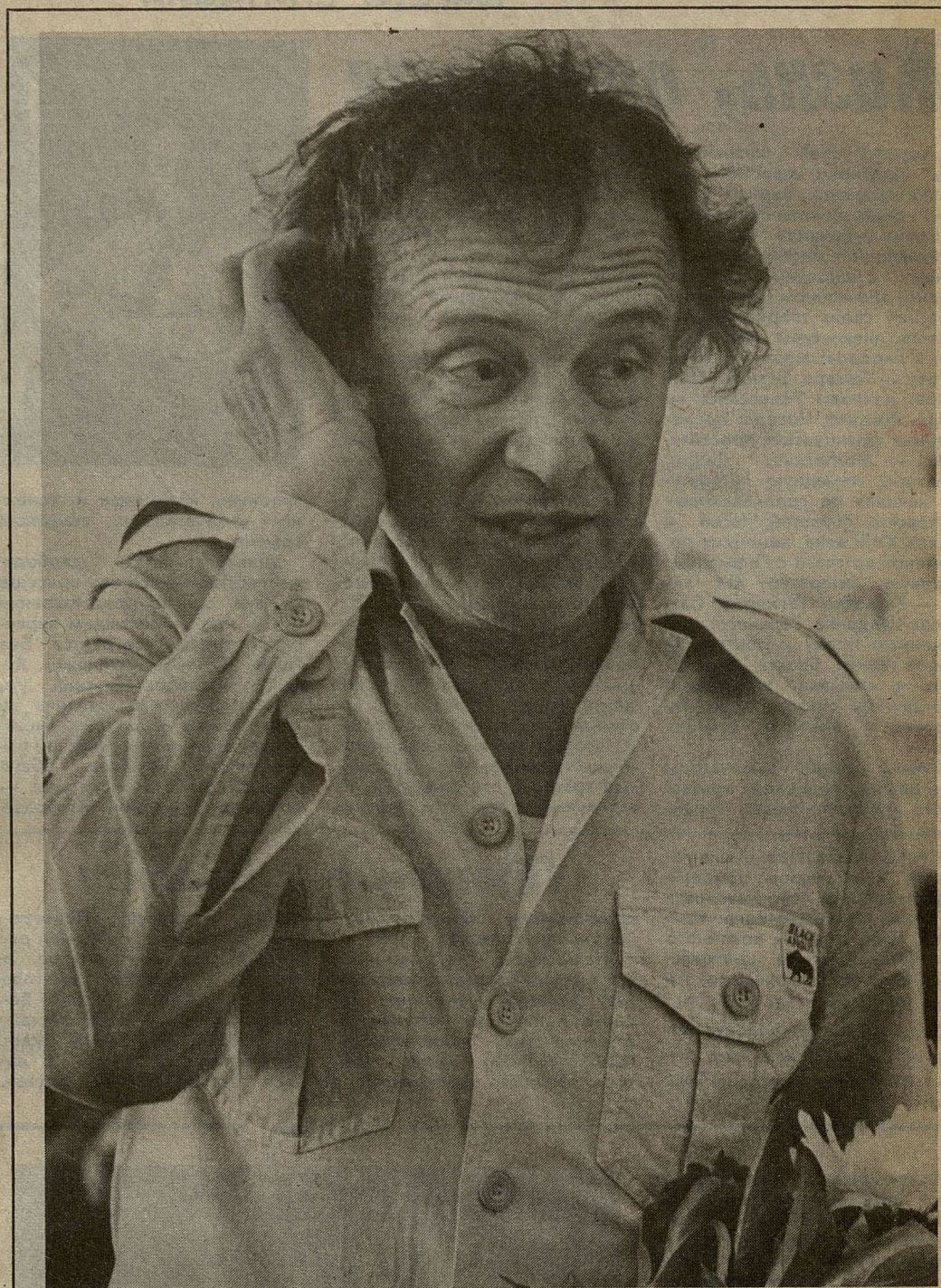
У арки дома на выходе в сторону Суворовского бульвара, что соединяет площадь Никитских ворот и Арбата, стояли трое — двое мужчин и собака. Встреча, как уже повелось, была неожиданна. Я отправлялся со своего Скатерного переулка выгуливать Бархата, четырехлетнего борзого кобеля, а человек, с которым мы столкнулись у арки, возвращался с работы. Ходил он обычно легкой походкой, которая странно сочеталась с едва уловимой ломкостью долговязой фигуры. Если он не торопился или шел нарочито медленно, то было заметно, как он слегка привлекает свои длинные ноги. Они как бы нехотя тащились за своим хозяином, который в это время мог, улыбаясь, крутить головой, рассматривая то ли крыши домов, то ли глазающих на него, такого узнаваемого, со всех тротуаров, окон проходящего троллейбуса, пролетающих легковушек.

Но порода! Но всегда некий элитарный шарм, который многих делал неуверенными при общении с этим странным и обаятельным человеком. Примерно год до того я подарил ему подборку стихов. Как потом оказалось, возвратясь домой после спектакля, он почти всю ночь читал их, а утром позвонил мне, и мы долго говорили. О чем?.. Ну об этом несколько ниже.

Так и стояли мы у подворотни, снежинки то затевали вокруг нас веселый хоровод, то бесшумно планировали на наши плечи. Его портфель! Наверное, это легенда. Это давно потерявший форму старый товарищ, во всех странствиях верный своему высокородному сенсору. В тот вечер из чрева этого бесформенного чудища выглядывал скромный букетик гвоздик — подношение одной из завязанных театралок. На голове у Иннокентия Михайловича была шляпа, но какая! Круглая, приплюснутая сверху, наваленная на лоб. Где же и когда я видел такую? Только актер до мозга костей, у которого его профессия приросла к нему, как собственная кожа, мог с беззаботностью мальчишки носить на голове столь ностальгический изыск.

Оглядываясь на пройденные годы, а мне уже перевалило на седьмой десяток, могу смело утверждать: я почти не встречал людей столь дружелюбных, искренних и открытых. И столь деликатных при этом.

В тот вечер я задал ему вопросы, рискуя увидеть холодность и отчужденность Иннокентия Михайловича. Как же еще плохо я его знал. Я спросил о Высоцком. Минуту уже более пяти лет со дня его смерти. Но мне показалось, что он и после смерти не стал в общественном сознании Ак-



Он человек был...

тером с большой буквы. Неистовый? Да! Талантливый? С перхлестом! Любимый? Да чего уж там! Но есть разница между тореадором, идущим на смертельный риск, и гениальным танцовщиком, который тореадор только на подмостках сцены. Успел ли Высоцкий пройти этот путь при жизни?

Последовала некая пауза. Потом Иннокентий Михайлович сказал с легкой запинкой: «Вы знаете, он меня несколько раз приглашал к себе в театр, а я как-то не собрался... и вообще мне казалось, что он сознательно держит дистанцию» — «Ну, конечно, — выпалил я безапелляционно, — вы были для него эталоном Актера, он и хотел видеть вас на этой дистанции...». Но Иннокентий Михайлович держал паузу. И вдруг: а вы знаете, они с Белохвостиковой лучше меня

сделали «Маленькие трагедии». Это был удар грома! Как?!. И это сказал Смокуновский? Вот вам, господа!

О чем мы еще говорили в тот вечер? Бархат стал повизгивать и упираться в поводок, мол, сколько можно? Пошли на бульвар. Но так не хотелось прерывать эту ночную беседу. Мой визави был в тот вечер необыкновенно хорош. Во время разговора он преобразился, какая-то окрыленность и легкость речи, сияли голубые глаза, рот раскрывался в обольстительной улыбке.

А ведь ему было уже шестьдесят.

В тот вечер я задал еще один вопрос. Дело в том, что по Москве, по элитным кухням и гостиним попользали слухи о неладах во МХАТе и что-де Ефремов «не тянет», и прочая, и прочая... «Да что вы, — изумился Иннокентий Михайлович, —

прекрасный человек, прекрасный и актер превосходный. Да вы представляете себе, что значит держать в руках такую банду крокодилов и кашалотов? А ведь мы такие». И помолчал: «Я ведь уже твердо решил — уйду из театра. Только он и отговорил».

...Познакомились мы со Смокуновским смешно и трогательно. Как-то мы с Бархатом отправились на бульвар еще засветло. Была поздняя весна, народ ходил в куртках. Мы шли через двор дома, в котором в те годы обитали Смокуновский, Евстигнеев, Михайлов и много еще знаменитого и не слишком театрального люда.

У открытого капота светлой «Волги» стоял высокий человек и пытался с помощью толстой алюминиевой проволоки перекинуть одну из неработающих банок аккумуля-

тора. Повинуясь не любопытству, а инстинкту старого автолюбителя, я замедлил шаг и спросил: а хватит вам мощности на пяти банках? В ответ он обернулся на мой голос, я увидел широченную улыбку: «Лишь бы фурычала». Потом он перевел взгляд на моего долговязого, как и он сам, красавца.

На охоте мой Бархат был зверь зверем, но с людьми добрыми вел себя, как ласковый младенец. Улыбка Иннокентия Михайловича вдруг стала какой-то беспомощно-просящей: «Можно я его поглажу?». Так они познакомились. А заодно и я...

Примерно в то время или вскоре прошли на телевидении два фильма — «Иннокентий Смокуновский читает Пушкина». Это была одна из первых наших бесед. Иннокентий Михайлович сказал: «Вы знаете, я не очень разбираюсь в поэзии, мне трудно судить о современных авторах. Вот Пушкин — другое дело. Его я знаю от корки до корки. У меня возникает такое ощущение, когда я его читаю, будто катятся глыбы золота».

Как эти глыбы золота катятся, должны помнить те, кто видел эти фильмы и имел редкую возможность вслушаться в голос, всмотреться в лицо артиста. Спустя полтора века Пушкин нашел-таки своего гениального исполнителя. Смокуновский читает так, будто это все сиюминутно рождается в нем самом. Мы становимся свидетелями сотворения этого чуда — явления миру высокой поэзии поразительной глубины как бы заново открываемого смысла и гармонии. Эти его протяжные вздохи и паузы. Такое замедление темпа стиха, что возникает иллюзия замедления хода времени. Он как бы проявляет то, что было написано симпатическими чернилами. Мысль Пушкина становится материальной. Слово само опускается с неба на землю. Как это ему удавалось — уму непостижимо.

...Существует множество легенд о том, как возник феномен Смокуновского. Алексей

Театроведы часто цитируют эпизод, как во время репетиции Смокуновский порезал руку ножом и вскрикнул. Тех, кто был на репетиции, потрясло то, что это был крик не самого Смокуновского, а князя Мышкина. Но вот что рассказал сам Иннокентий Михайлович: «Я пришел в сложившийся коллектив, давно имевший свои устои и традиции, кто в то время входил в основной состав, вам рассказывать не надо. Но я еще никого не знал близко и на первых репетициях чувствовал — не получается. Я запаниковал, а моя Суламифь Михайловна сказала мне: «Кеша, затаись, успокойся, смотри и слушай». И постепенно, постепенно я начал что-то находить и вошел в спектакль...».

Так что чуда не было. Была огромная внутренняя работа. Была выдержка, которая не позволила сорваться. Был талант, рвущийся в небо, но уже хорошо знавший, что такое земная твердь и как о нее разбиваются вдребезги.

Боже, кого он только не играл в театре и в кино. И насколько он был изощрен. Удивительное дело, его дар глубины, философского проникновения в роль не противоречил филигранной работе в деталях. Эти чуть различимые черточки, штришки, кружочки и завиточки характера так окутывали роль и так чисто внешне формировали образ, что сам Смокуновский становился неразличим на его фоне.

Происходила материализация духов, и появлялись такие монстры, как Пал Палыч в «Ночном госте». Он был настолько омерзительно правдоподобен, настолько узнаваем во всех своих гнусностях, что я с ужасом чувствовал: Смокуновский начинает вызывать у меня омерзение именно как Смокуновский. Невольно закрадывается сомнение, позволительно ли такой актерский беспредел! Когда перед тобой уже не лицедей, а оборотень. Неужели гениальность Мастера может вступать в противоречие сама с собой? Но этот вопрос я не успел задать.

А «Девять дней одного года»? Я всю свою сознательную жизнь провел среди ученых. Сам был аспирантом Академии наук. Насмотрелся на всех блистательных ученых шестидесятых — семидесятых годов, но столь достоверного во всех микроскопических деталях физика-теоретика, каким был Илья Куликов, я не видел, можете мне поверить. Был ли однажды хотя бы один сбой, когда Актера подвела нечеловеческая сверхинтуиция, не знаю. На съемках «Девяти дней», и это хорошо известно, Михаил Ромм «натаскивал» Баталова — Гусева на поразительном по стойкости примере другого кинорежиссера — Владимира Скуйбина, безнадежно больного, прикованного к креслу. Но даже в этих невыносимых для нормального человека обстоятельствах Скуйбин успел снять еще два прекрасных фильма. И если пример

Гусева — пример высокой самоотверженности и самопожертвования, то пример Ильи Куликова — пример спокойной, ироничной, животворящей человеческой мысли. Когда, следуя человеческой логике и человеческому здравому смыслу, можно делать большую, полезную работу без необходимости героически преодолевать собственные ошибки.

Как нам сейчас не хватает Куликовых, гораздо больше, чем Гусевых. Но более всего нам не хватает Смокуновских. Нам катастрофически не хватает духовной элиты. Она исчезает, тает, уходит или просто бежит куда глаза глядят, как обмолвился Владимир Спиваков — «в поисках кислорода», которого в России не стало. Сама культура диссипирует, превращается в летучую эманацию. На ее месте непотребный гогот, голые ляжки к месту и не к месту и анатомизированная блевотина людских страстишек. Иннокентий Михайлович всем своим существом протестовал против девальвации культуры, деградации нравственности, грубого, циничного насилия и крови человеческой. Вот почему в ночь на 4 октября 1993 года он был на площади рядом с москвичами.

А свою Суламифь Михайловну он очень уважал и, мне кажется, даже побаивался. Как-то я поставил машину неподалеку от дома, где жил Смокуновский, и направился в «стекляшку», так в околотеке называли гастроном в первом этаже этого дома. Вдруг встречу сам Иннокентий Михайлович. Мы поздоровались. Он спрашивает: «У вас не найдется сигареты?» — «Да ради бога, только в машине, я сейчас принесу». — «Ну что же вы будете бегать из-за меня, идемте вместе». До машины было метров сто. Пока мы шли, он извиняющимся голосом говорил: «Понимаете, я почти не курю, так, иногда, но вот Суламифь Михайловна знает, что мне нельзя курить, я и не держу сигарет дома. — От целой пачки он отказался, взял только две сигареты. — «Как ваша дочь, — спросил Иннокентий Михайлович, — передавайте ей привет, она у вас прелестьна, она ведь художница?». И это он помнил. Мы расстались. Как летит время. Кажется, это была наша последняя встреча.

Я с нежностью и грустью вспоминаю наши нечастые встречи. Вот он с дочерью переходит бульвар. Вот он жаркой весной в белой рубашке с закатанными по локоть рукавами и со своим неразлучным портфелем стремительно идет по Тверскому бульвару. Вот два или три «спеца» возятся с его машиной во дворе, а он стоит рядом и рассказывает что-то смешное. Вот, торжественно сев в свою «Волгу» и улыбаясь незабвенной улыбкой Юрия Деточкина, отправляется на дачу.

И, наконец, сцена МХАТа, уставленная венками, и он на авансцене в последнем своем трагическом бенефисе. И как в дни его спектаклей, заполнены партер и ярусы его верными зрителями и еще на улице у дверей театра многие сотни людей и море цветов.

Оглянемся вдогонку...
Эрлен ВАКК.